

Н. Гоголь

Письма 1842–1845 годов

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Г58

Г58 **Гоголь Н.В.**
Письма 1842–1845 годов / Н. Гоголь – М.: Книга по Требованию, 2021. –
504 с.

ISBN 978-5-4241-1527-1

ISBN 978-5-4241-1527-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Н.В. Гоголь, 2021

Николай Васильевич Гоголь
ПИСЬМА 1842–1845 ГОДОВ

В. Ф. ОДОЕВСКОМУ. <Между 1 и 7 января 1842. Москва.>

Принимаюсь за перо писать к тебе и не в силах. Я так устал после письма только что конченного к Алексан<дре> Осиповне, что нет мочи. Часа два после того лежал в постеле и всё еще рука моя в силу ходит. Но ты всё узнаешь из письма к Александре Осиповне, которое [В подлиннике: которой] доставь ей сейчас же, отвези сам, вручи лично. Белинский сейчас едет. Времени нет мне перевести дух, я очень болен и в силу двигаюсь. Рукопись моя запрещена. Прodelка и причина запрещения всё смех и комедия. Но у меня вырывают мое последнее имущество. Вы должны употребить все силы, чтобы доставить рукопись государю. [Вот <она>] Ее вручат тебе при сем письме. [Ее вручит тебе Белинский] Прочтите ее вместе с Плетневым и Александр<ой> Осиповной и обдумайте, как обделать лучше дело. Обо всем этом не сказывайте до времени никому. Какая тоска, какая досада, что я не могу быть лично в Петербурге! Но я слишком болен. Я не вынесу дороги. Употребите все силы! Ваш подвиг будет благороден. Клянусь, ничто не может быть благороднее! Ради святой правды, ради Иисуса употребите все силы!

Прощай, обнимаю тебя бесчисленно. Плетнев и Смирнова прочтут тебе свои письма. Ты всё узнаешь. Кроме их не вручай никому моей рукопи<си>.

Да благословит тебя бог!

П. А. ПЛЕТНЕВУ

Генваря 7 <1842. Москва>

Расстроенный и телом и духом пишу к вам. Сильно хотел бы ехать теперь в Петербург, мне это нужно, это я знаю, и при всем том не могу. Никогда так не впору не подвернулась ко мне болезнь, как теперь. Припадки ее приняли теперь такие странные образы... но бог с ними, не об болезни, а об цензуре я теперь должен говорить. Удар для меня никак неожиданный: запрещают всю рукопись. Я отдаю сначала её цензору Снегиреву, который несколько толковее других, с тем, что если он находит в ней какое-нибудь место, наводящее на него сомнение, чтоб объявил мне прямо, что я тогда посылаю ее в Петербург. Снегирев чрез два дни объявляет мне торжественно, что рукопись он находит совершенно благонамеренной, и в отношении к цели и в отношении к впечатлению, производимому на читателя, и что кроме одного незначительного места: перемены двух-трех имен (на которые я тот же час согласился и изменил) — нет ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же самое он объявил и другим. Вдруг Снегирева сбил кто-то с толку, и я узнаю, что он представляет мою рукопись в комитет. Комитет принимает ее таким образом, как будто уже был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию: ибо [потому что] обвинения все без исключения были комедия в высшей степени. Как только, занимавший место президента, Голохвастов услышал название: Мертвые души, закричал голосом древнего римлянина: — Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья. В силу наконец мог взять в толк умный президент, что дело идет об ревижских душах. Как только взял он в толк и взяли в толк вместе с ним другие цензора, что мертвые значит ревижские души, произошла еще большая кутерьма. — Нет, закричал председатель и за ним половина цензоров. Этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа — уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права. Наконец сам Снегирев, увидев, что дело зашло уже очень далеко, стал уверять цензоров, что он рукопись читал и что о крепостном праве и намеков нет, что даже нет обыкновенных оплеух, которые раздаются во многих повестях крепостным людям, что здесь совершенно о другом речь, что главное дело основано на смешном недоумении продающих и на тонких хитростях покупателя и на всеобщей ералаше, которую [на всеобщем ералаше, который] произвела такая странная покупка, что это ряд характеров, внутренний быт России и некоторых обитателей, собрание картин самых невозмутительных. Но ничего не помогло.

«Предприятие Чичикова, [Но предприятие Чичикова] — стали кричать все, — есть уже уголовное преступление». «Да впрочем и автор не оправдывает его», — заметил мой цензор. «Да, не оправдывает! а вот он выставил его теперь, и пойдут другие брать пример и покупать мертвые души». Вот какие толки! Это толки цензоров-азиатцев, то есть людей старых, выслужившихся и сидящих дома. Теперь следуют толки цензоров-европейцев, возвратившихся из-за границы, людей молодых. «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков (сказал один из таких цензоров, именно Крылов), цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу. Человеческое чувство вопиет против этого, хотя, конечно, эта цена дается только за одно имя, написанное на бумаге, но всё же это имя душа,

душа человеческая, она жила, существовала. Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет». Это главные пункты, основываясь на которых произошло запрещение рукописи. Я не рассказываю вам о других мелких замечаниях, как то: в одном месте сказано, что один помещик разорился, убирая себе дом в Москве в модном вкусе. «Да ведь и государь строит в Москве дворец!» — сказал цензор (Каченовский). Тут по поводу [Словом тут по поводу] завязался у цензоров разговор единственный в мире. Потом произошли другие замечания, которые даже совестно пересказывать, и наконец дело кончилось тем, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитет только прочел три или четыре места. Вот вам вся история. Она почти невероятна, а для меня в добавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить в человеке. Цензора не все же глупы до такой степени. Я думаю, что против меня что-нибудь есть. Но дело, между прочим, для меня слишком серьезно. Из-за их комедий или интриг мне похмелье. У меня, вы сами знаете, все мои средства и всё мое существование заключены в моей поэме. Дело клонится к тому, чтобы вырвать у меня последний кусок хлеба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья от мира и всех его выгод, [приманок] другого я ничего не могу предпринять для моего существования. Усиливающееся болезненное мое расположение и недуги лишают меня даже возможности продолжать далее начатый труд. Светлых минут у меня не много, а теперь просто у меня отымаются руки. Но что я пишу вам, уже не помню, я думаю, вы не разберете вовсе моей руки. Дело вот в чем. Вы должны теперь действовать соединенными силами и доставить рукопись к государю. Я об этом пишу [писал] к Александре Осиповне Смирновой. Я просил ее через великих княжен или другими путями, это ваше дело, об этом вы сделаете совещание вместе. Попросите Алек<сандру> Осипов<ну>, чтобы она прочла вам мое письмо. Рукопись моя у князя Одоевского. Вы прочитайте ее вместе человека три-четыре, не больше. Не нужно об этом деле производить огласки. Только те, которые меня очень любят, должны знать. Я твердо полагаюсь на вашу дружбу и на вашу душу, и нечего между нами [Далее было: заикаться] тратить больше слов! Обнимаю сильно вас, и да благословит вас бог! Если рукопись будет разрешена и нужно будет только для проформы дать цензору, то, я думаю, лучше дать Очкину для подписанья, а впрочем, как найдете вы. Не в силах больше писать.

Весь ваш Гоголь.

В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

<Около 24 января 1842. Москва.>

Что ж вы все молчите? что нет никакого ответа? Получил ли ты рукопись? Получил ли письма? Распорядились ли вы как-нибудь? Ради бога не томите. Гр. Строганов теперь велел сказать мне, что он рукопись пропустит, что запрещение и пакость случились без его ведома, и мне досадно, что я не дождался этого неожиданного для меня оборота, мне не хочется также, чтобы цензору был выговор. Ради бога обделайте так, чтобы всем было хорошо, и пожалуйста не медлите. Время уходит, время, в которое расходятся книги. Прощай, целую тебя несколько раз. Ради бога не томите меня. Здоровье мое и без того очень плохо.

Весь твой Гоголь.

Письмо это тебе вручит Аркадий Тимофеевич Аксаков. Он через неделю едет назад в Москву, стало быть, рукопись можно вручить ему, если дело кончено. Я бы готов напечатать в Петербурге, но там напечатанье дороже станет. Обо всем этом переговорите, [Далее вписано и зачеркнуто: Даже у меня нет в Москве] и еще умоляю вас — не томите меня. [Далее начато: но для]

На обороте: Его сиятельству князю Владимиру Федоровичу Одоевскому.

На Литейной в доме Шлипенбаха.

Н. Я. ПРОКОПОВИЧУ

<Между 24 и 27 января 1842. Москва.>

Я не писал к тебе, милый Николай, потому что не был в силах. Так устал от писем и всяких тревог душевных и телесных и, от болезни моей, которой припадки были теперь сильнее, нежели когда-нибудь, что руки не поднимаются. Целую тебя горячо и сильно несколько раз. Ты слышал, я думаю, уже обо всем. Наведайся к Плетневу и узнай от него, что и как рукопись моя, и чтобы они мне [меня] присылали ее как можно скорее, если дело сделано — и типография и бумага ожидают. Уведомь меня хоть строчкой. Никто ко мне не [Никто не] пишет. Или Белинский неверный человек и не передал им во-время писем и тетради. Я писал к нему и Одоевскому.

В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

27 января <1842>. Москва

Сейчас я только получил письмо от Александры Осиповны. Оно меня очень успокоило. Благодарю ее и всех вас много-много. В теперешнюю минуту такое участие для меня очень дорого. Я бодрю себя как могу, стараюсь выходить из дому и принимать сколько в силах лучшую физиогномию. Я писал тебе через Аркадия Тимофеевича Аксакова. Я уведомлен, что здесь хотят пропустить, но это, кажется, только слова, полагаться нельзя. Во всяком случае действуйте как следует, и если что будет готово, то можно вручить для передачи мне, Аксакову. Он пробудет в Петербурге пять или шесть дней. Обнимаю тебя.

Твой Гоголь.

М. П. БАЛАБИНОЙ

<Январь 1842. Москва.>

Хотя несколько строк напишу к вам. А не хотел — право, не хотел братья за перо. Из этой ли снежной берлоги выставлять нос, и еще писать? Медведи обыкновенно в это время заворачивают свой нос поглубже в шубу и спят. Вы уже знаете, какую глупую роль играет моя странная фигура в нашем родном омуте, куда я не знаю, за что попал. С того времени, как только ступила моя нога в родную землю, мне кажется, как будто я очутился на чужбине. Вижу знакомые, родные лица; но они, мне кажется, не здесь родились, а где-то их в другом месте, кажется, видел; и много глупостей, непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной голове. Но что ужасно — что в этой голове нет ни одной мысли, и если вам нужен теперь болван, для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь теперь к вашим услугам. Вы на меня можете надеть и шляпку, и всё, что хотите, и можете сметать с меня пыль, мести у меня под носом щеткой, и я не чихну, и даже не фыркну, не пошевелюсь.

П. А. ПЛЕТНЕВУ

Февраля 6-го <1842. Москва>

Из письма Прокоповича я узнал, между прочим, что вы хотите рукопись отдать Уваро<ву>. Отсоветуйте это делать. [Ради бога, этого не делайте] Уваро<в> был всегда против меня, хотя я совершенно не знаю, чем возбудил его нерасположение. Оно, казалось, началось со времен Ревизора. Иначе действовать при теперешних обстоятельствах тоже, кажется, нельзя, и потому прекратите это дело. Я вижу, не судьба моему творенью [ей] теперь быть напечатану. Да к тому, прошло и время. Я умею покориться. Я попробую еще выносить нужду, бедность, терпеть. А ваше великодушное участие не потеряло чрез то нimalo цены; скажите это всем: Александре Осиповне, графу Вельегорскому, кн. Одоевскому, князю Вяземскому. Я умчу это движенье душ их в недре моего признательного сердца всюду, куда бы ни завлекла меня моя скитающаяся судьба. Оно будет вечно свежить меня и пробуждать любовь к прекрасным сокровищам, хранящимся в России. Нет, отчаянье не взойдет в мою душу. Непостижим вышний произвол для человека, и то, что кажется нам гибелью, есть уже наше спасенье. Отложим до времени появленье в свет гряда моего. И теперь уже я начинаю видеть многие недостатки, и когда сравню сию первую часть с теми, которые имеются быть впереди, вижу, что и нужно многое облегчить, другое заставить выступить сильнее, третье углубить. О, как бы мне нужен был теперь тихий мой угол в Риме, куда не доходят [не доходили бы] до меня никакие тревоги и волненья! Но что ж делать: у меня больше никаких не оставалось средств. Я думал, что устрою здесь дела и могу возвратиться — вышло не так. Но я тверд. Пересиливаю, сколько могу, и себя и болезнь свою. Неотразима вера моя в светлое будущее, и неведомая сила говорит мне, что дадутся мне средства окончить труд мой. Передайте мою признательность, мою сильную признательность всем. Успокойте их, скажите им, что они уже много сделали для меня. Клянусь, это знает и чувствует одно только мое сердце. Их великодушие, может быть, мне понадобится еще впереди. Ради бога, успокойте их, а рукопись возвратите мне. Но прежде самое главное, прочтите ее вместе, т. е. впятером, и пусть каждый из вас тут же карандашом на маленьком лоскутке [на маленькой записочке] бумажки напишет свои замечания, отметит все погрешности и несообразности. Грех будет тому, кто этого не сделает. Мне всё должно говорить; мне больше, нежели кому другому, нужно [до<лжно>] указывать мои недостатки. Но вы сами можете понять всё это. Пусть все эти лоскуточки они передадут вам, а вы их немедленно препроводите ко мне. Эту небольшую записочку вручите Александре Осиповне. Да хранит вас всех небо! Оно сохранит вас за благородную прелесть ваших душ.

Вечно ваш Гоголь.

P. S. Будет ли в Современнике место для статьи около семи печатных листов, и согласитесь ли вы замедлить выход этой книжки, выдать [то есть выдать] ее не в начале, а в конце апреля, т. е. к празднику? Если так, то я вам пришлось в первых числах апреля. Уведомьте.

На обороте: Петру Александровичу Плетневу. Старое письмо.